

Александр ДОРОШЕНКО

Таировское кладбище

Самое молодое и самое большое из всех. Как и Город (его отражением в прошедшем столетии), здесь все разбито на кварталы, только они, как улицы в Америке, номерные, есть перекрестки и даже площади. Сейчас конец мая, все зелено, деревья, густые кусты сирени и трава, летают бабочки и стремительно исчезают в траве ящерицы, но здесь живет смерть, и все здесь, привычные атрибуты жизни, иное — это территория смерти.

Обитателей здесь примерно столько же, сколько оставшихся в Городе, только они уже не бегают, и на каждого приходится ровно столько места, сколько ему и требовалось, и эти, бегающие поодаль, суеязящиеся в бессмысленном бродяжничестве, где путь каждого полон смысла, но если глянуть с небольшой высоты на всех сразу — нет большей бессмыслицы, чем их глупые перемещения.

(Не следует путать с муравьями — муравей не совершает бессмысленных поступков: не учится играть на пианино в детстве, с тем, чтобы сохранить разве что ненависть к этому инструменту, не учит физику-математику-химию, с тем, чтобы всю жизнь продавать капусту, не читает "Войну и мир", с тем, чтобы во всю свою жизнь уже ничего не читать — не называть же чтением то, что они читают...)

А то, ради чего эти люди бежали — видно здесь, где успокоились и легли. И только очень немногие в самом конце, перед уходом, смогли осознать глупость своего бега. Эти — самые лучшие, ради которых стоят оба города: сегодняшний и сиюминутный, и этот, вечный и настоящий — Некрополь.

Кладбище это без номера, в отличие от всех предыдущих, потому что интернациональное, то есть самое одесское, и все лежит вперемешку, как жили в кварталах города, так и здесь, в кладбищенских кварталах. В одной общей на всех постели. Многоспальной. Таировским его называют по поселку, как и местные вина. Подобно поселку, оно необозримо, безлико и перенаселено. У него нет истории, как у старых кладбищ, нет времени, здесь только пространство смерти...

Местные жильцы счастливы — они не болеют и не стареют, не мучаются переживаниями — они терпеливо ждут!

Мы не выбираем, где нам родиться, а где лечь — выбираем за нас. Мы выбираем свое место среди живой жизни, и вот здесь мы, как правило, ошибаемся. А первый и последний выбор — самый правильный из возможных! Многие из лежащих были знакомы при жизни, дружили или враждовали, но здесь у них иные соседи. Как в сказке Андерсена, где ночной ветер перепутал вывески, и стало непонятно, где они должны быть и чему соответствовать. Лежит умный и не особо, еврей рядом с антисемитом, хищник рядом с жертвой, моряки, уходившие в дальние плавания от своих жен, теперь положены рядом с ними. Их вернули домой. На могильных плитах у моряков нарисованы корабли в океане. Свинцовые тяжелые волны катятся по мраморной черной плите под свинцовыми низкими облаками, и корабль покоится в материнских объятиях земли и неба. Самый красивый сюжет из возможных сюжетов жизни. И смерти. Потому что корабль этот покоится — он нигде уже не плывет.

Здесь лежит моя бабушка, Ефросиния Михайловна Дорошенко, в девичестве Крапивницкая. Это скорее польская фамилия, и ее дед еще ходил в костел. Придя и все прибрав, траву, листья и мусор, я подолгу сижу у ее могильной плиты, в тишине. Таировское кладбище так велико, как континент, и на нем безлюдно и тихо... Вначале от поднятого мною шума все здесь замирает, даже высокие стебельки травы стараются не дышать — вдруг не понравятся мне, и я их тоже срежу, как выкосил множество травинков вокруг бабушкиной могилы. Но вот они поверили, что меня здесь не стало, и перестают притворяться мертвыми. Серая ящерица, такая молоденькая, что неразличимо, где кончается ее хвостик и начинается тельце, пробежала среди плит и замерла погреться на солнце, на своем, видимо, любимом месте, и теперь она горестно рассматривает учиненное мной разоренье — траву, подстриженную на манер армейской полковничьей прически, ежиком, и даже цвет ее у корней стал напоминать выгоревшее хаки, ветку сирени, срезанную мной с куста и брошенную на могилу (сегодня конец мая, и пламенеет кладбище в сиреневых кустах, такого их обилия не бывало даже на полотнох Костанди, все мыслимые виды и сорта сирени, все цвета и запахи поделили кладбище на участки, и на каждом свой запах и цвет своей сирени; я подожреваю, что в городе продают сирень с наших кладбищ — всего рубль за громадный сиреневый куст).

Семен и Сарра Срулевичи. Жить будем долго и умрем в один день — это они так и прожили, от начала века до 80-го года. Меня, идущего по аллее и скользящего взглядом по множеству тысяч лиц, ее лицо заставило остановиться. Ей на этой фотографии уже немало лет, но глаза, уж если они меня с могильной плиты смогли достать и остановили, и заставили подойти к оградке, как же они действовали на мужчин при ее жизни, когда была она молодой? Было где отражаться Семену! И где теряться. Она в берете и в меховой накидке, это отблеск времени, так могла быть одета и моя мама, но такая гордая сила в этом лице, в постановке ее головы и плеч...

Все, что случилось с нашей страной, стало их жизнью, они впитали это и еще многое, о чем не успели никому рассказать, а теперь уже поздно, и лежат они молча. Беды революции, две мировые войны, Холокост... Как они чувствовали себя, узнав об ужасах Холокоста, как жили среди окружения, как смогли сохранить такое достоинство в лицах? И были людьми русской культуры — мне нет нужды искать документы — достаточно этих фотографий.

Стою, поставив ногу на кованую решетку оградки, и вспоминаю — что же они любили? — наверное, как и мои родители, песни Шульженко и Утесова, смеялись Аркадию Райкину, фильмы смотрели — "Карнавальную ночь", "Летят журавли"... Читали книги и говорили о книгах — классику нашу и, наверное, успели прочесть переводы Ремарка и Хемингуэя. Вижу наши курорты городские, а возможно, они ездили отдыхать в Крым. Вечерние аллеи над морем, прохлада летнего вечера и друзья, и разговоры — о фильмах и актрисах, о книгах, о семейных делах — то немногое счастье, которое даровала им жизнь.

Такая страстная сила в ее лице — сила протеста. Против чего? — Стоя у могилы, легко придумать ответ, но она такой была и при жизни. Против обыденности, против серости, против безликости, против ухода — она и сейчас, когда я всматриваюсь в ее лицо, — против, и это навязчиво твердит мне, чтобы я не прошел мимо, чтобы заметил и понял. Чтобы не позабыл!

Я буду помнить, Сарра, ты не волнуйся, я не забуду!

Гитля Комар и Гельман Старший Механик. Фаня Ляуфер и Ида Ключ. Изыск и простота. Фаня Котик и Иван Попик устроились рядышком, через оградку.

Супружеская пара Хахам (хахам — это мудрец у евреев), она с породистым русским лицом, Лидия Петровна (смесь французского с нижегородским), а он дан только инициалами, но такое характерное еврейское лицо — я всегда, увидев такое, здороваюсь, на всякий случай, чувство — что знаю, и хорошо знаю, но вот не вспомню сейчас, как и откуда... Такие лица были среди учеников и среди врагов Иисуса в Палестине, он тоже, возможно, в них путался...

Кароль Цириг (но близкие его звали Колей, так они и написали ниже, прощаясь).

Иван Саранча (это ведь неотличимое множество, полная идентичность миллиона особе сразу). Стефан Тот (наверное, знакомые упражнялись на его счет и говорили — Тот еще). Уверен, пошу и найду фамилию — Этот.

Давид. Молодое лицо, по-лошадиному красивое, как у Пастернака, и глаза сумасшедшие — я такие точно лица помню на рисунках и стелах хеттов и египтян, так они рисовали лица евреев библейских времен...

Смешные ребята, на этих плитах они с антуражем живой жизни. Такие жизнерадостные они на этих портретах, переведенных мастерами погребально-живописного цеха с фоток на мраморную поверхность, такие оптимистичные все...

Молодая кокетливая дама с уютной чашечкой кофе в руке (и дымятся кофе), а второй она поддерживает блюдце, чтобы не капнул кофе на блузку (белую, воздушную, с рюшками); а эта стоит в рост на могильной плите, и платье у нее с высоким разрезом, а в него выставлена стройная ножка, упругая телом, с высоким подъемом, и теряешься в силе чувства, ловя себя на разглядывании этой живой ножки; а этот в очках, с сигаретой и с книгой, он только на секунду, чтобы на тебя, проходящего, мимо глянуть, поднял от страницы глаз (я оглянулся посмотреть, я уверен был, что он снова опустит глаза в свою книгу — что такое он там читает?...). Лицо умное, задумчивое — рукой он подпер подбородок, сдвинул усилием мысли брови и уголки губ — думать надо было раньше!

Море вертикальных стел, и на плоскости мраморной — лица, лица, лица, и каждое — значимое, особое, полное мысли, чувства и жизни. Стелы разновелики (как свидетельство

благополучия оставшихся), и эти лица выглядывают друг из-за друга, тянутся, чтобы их увидел, рассмотрел, понял... Стоят как бы в толпе и поднимаются на носки, чтобы увидеть и мне показаться. Торопятся что-то сказать, выкрикнуть, предупредить — пока удерживают мой взгляд... Стою на аллее, и шумят кладбищенские ряды голосами, плачем, смехом, гневом, угрозой. И когда перехожу дальше и останавливаюсь вновь, новые голоса сменяют предыдущие (так на Красной площади при парадах объезжал командующий выстроенные полки, и каждый полк в один голос ему отвечал — лаем!). Уложены они квадратно-гнездовым методом, ровными рядами, и большинство так было устроено и при жизни, но немногим так быть, в ряд, тяжело и после смерти.

(Сейчас у меня здесь, на кладбищенских бесконечных аллеях, не парад — но смотр, не я их, но они меня — смотрят и оценивают, и я слышу мне вслед эти оценки, а вам говорить их не стану, вам не следует этого знать, — живите спокойно!)

Кладбищенский бомж. Молодой и телом вполне здоровый парень. Еще крепкий — молодое здоровье, ходят ноги, руки движутся и видят глаза. Он слышит и не утратил навыков речи. На выжженном полуденным солнцем кладбище, среди холмиков, оград и жухлой травы — в царстве мертвых. В царстве, где живому, еще бьющемуся сердцу, нет надежды! Здесь даже бабочки иные — из этого уснувшего царства, они иначе порхают, и не интересуются цветами. Между этими бабочками и кладбищенскими цветами утрачены связи.

Здесь, на кладбище, время иное, оно превратилось в желе, тягучее, прерывистое, в него невозможно войти и вписаться. Оно обволакивает здесь все, веточки деревьев и листочки, и стекает отравленной патокой по кладбищенским плитам, и капает с уголков губ могильных фотографий. Оно накапливается лужами на дорожках, и идущий скользит, у него вязнут ноги в этом конденсате времени. Вместе с мертвыми здесь, на кладбище, захоронено и прошитое иное время. Это и есть Стикс — река мертвых, бесцветная река, неподвижная, с бурными водоворотами мертвой воды. Время течет центральной кладбищенской аллеей и растекается множеством ручейков — венами, в которых пульсирует чуждая всему живому кровь.

*обычный день без числа месяца и года:
"Мартобря" — "Чи 34 сло Мц, гдао ылар-
веФ 349" — "Никоторого числа"¹*

(Здесь и наше, уже прожитое нами время, оно ведь должно где-то храниться, здесь и мы сами, бывшие, какими были в свои пять и пятнадцать, и двадцать лет... И если не торопясь идти поздним тихим вечером по кладбищенским аллеям, можно, острожно оглянувшись, чтобы не спугнуть, увидеть себя мальчишкой, смотрящим себе же, сегодняшнему, вслед... Мальчик стоит, прислонившись плечом к памятнику, и задумчиво смотрит тебе вслед, с печалью, любовью и состраданием. Он знает о тебе больше, чем ты можешь вспомнить о нем.

Вечером, когда неторопливо и мягко гущаются тени на кладбищенских дорожках, когда тишина сглаживает углы полутонами оттенков, сердцу видится былое, — вот идешь рядом со мной, тогда еще подростком, моя мама, она останавливается и что-то говорит мне, то ли о могиле лежащего здесь человека, которого она знала при жизни, то ли обо мне, о неправильных всяких моих поступках, но вечер смягчает горечь беспокойства в ее голосе, и я вслушиваюсь и впитываю этот единственный в мире голос, его глубокую теплоту, — я впервые услышал его, еще будучи в ней, когда она со мной говорила, со мной, ей еще неизвестным, ожидаемым, она даже не могла сказать мне "мой мальчик", она ведь еще не знала, что я окажусь мальчик. Но я уже тогда слышал и понимал мою маму, я тогда уже баловался и капризничал, а она любовно гладила мое маленькое тело и укоряла, и ласкал меня мамин голос, а когда я покинул мамино тело, я это голос сразу узнал, я знал, как и сейчас это знаю, — мамин голос всегда с нами, до самого нашего конца, но и за ним тоже — он встретит нас и там — мамин родной голос!)

Одиноким бомж движется неровной походкой, в которой отсутствует чувство направления, он окружен тысячами наблюдающих глаз, внимательных — с могильных памятников. И ему некуда скрыться от этих насмешливых, злорадствующих глаз. Здесь в мертвых пространствах смерти у него нет уголка

¹ Николай Гоголь. Записки сумасшедшего.

тишины и покоя. Он покорился, и у него уже нет сил для сопротивления и противостояния мертвым. Это страшнее путешествия Данте в потусторонний мир. Дант мог говорить, он боялся, радовался и негодовал. У него был проводник и попутчик. Он имел цель и направление пути и знал, что вернется.

Пожилая торговка цветами на входе в кладбище подзывает бомжа и, ласково назвав его по имени, протягивает ему какую-то еду, и что-то ободряющее говорит. Я, задержавшись у памятника, слышу спиной ее слова — что надо бы ему погреть руку на солнце и она пройдет, а пока походи и сядь в тени, и вот поешь. Так жалуют бездомного шелудивого изувеченного лодыги пса, и пес недоверчиво слушает слова утешения... Но псы не бывают бомжами, они не выпадают из жизни, они умирают живыми, пусть мучаясь и страдая, но они уходят из жизни живыми.

Живое существо не должно так страдать!

Молодой солдат в полной форме, с петличками танкиста, в пилотке — в чем взяли...

Полковник Б.М. Эдельман и полковник КГБ Гусак...

Подполковник Красота и генерал-майор Удача ("не родился красивой, а родись счастливой" — это, видимо, правило из армейского устава). Полковник Мичман — перерос себя человек, но бывает и наоборот — капитан Майор (у кого-то из классиков был герой — майор Майор, я думал, что это красивая выдумка, но теперь вижу — просто жизнь).

Крайний у стены ряд могил, там конечно набросан мусор, на стене крупными буквами надпись "Мусор сюда не бросать", и под ней ответ: "Мусор к мусору". Здесь могила капитана милиции.

Как и на всех остальных, здесь тоже хоронят цыган. Похоже, что цыгане самый интернациональный народ — им полностью все равно, среди каких народов жить, и такими они остаются и в смерти. Заготовлены строгие бетонные надолбы для еще живущих баронов. Эти памятники баронам, как китайцы в Сан-Франциско, вроде бы тысячу лет свои, но всегда чувствуешь недоумение, — что они здесь делают?

Все живое, — люди и бедные кролики, обычаи и города, континенты и забегаловки, свадьбы и похороны, китайцы и хасиды, нравы и ритуалы, кусочек хлеба с салом и горчицей, жареный петух и роллс-ройс — и тысяча тысяч иного — все это было в прищуре глаз, чуть уловимом, чуть заметном, и еще в уголке губ, в намеренной улыбке — все уже было там. Запомни, был день, еще самое утро, из первых осенних дней, и ты вышел, чувствуя запах кофе, и остановился на углу, в развилке старого и нового Арбата, достал сигарету, и с удовольствием глядя на вымытый и такой чистый мир, только что вышедший из-под тяжелой и узловой руки Бога, не торопясь, выпустил изо рта струйку дыма — помни, именно в этот момент ты, тогда молодой и красивый, полный силы мужчина, полный неукротимой силы, в которой растворены снисходительность и доброта сердца — ты понял сразу все — понял, взвесил и оценил все это сразу, все данное тебе и дарованное жизнью — и это был единственный раз в твоей жизни, ее наивысшая точка, когда стало понятным все!

И проследив, как струйка табачного дыма пересекает Новоратское шоссе, пересекает и зачеркивает стадо автомобилей, рвущихся в бесконечное никуда, перечеркивает высотные здания Нового Арбата (такая легкая, невесомая струйка дыма, а вот поди ж ты, дрожат и вибрируют в ней контуры высотных зданий, как землетрясение или цунами, или смерть, она сотрясает их до самого основания), ты сказал себе вслух, удивив проходящую по срочным и неотложным делам какую-то даму, ты сказал: "Боже мой, тут что-то не так, на этой смешной картинке, что-то тут перепутано, верх и низ, юг и запад — и самое время все переставить!"

А потом ты опомнился и вернулся к людям, в суету утренней Москвы, в это несчастное тысячелетие, позабыл, что даже такая малость времени, пропущенная, — опасность потерять все. И куда-то пошел деловой походкой, установив на лице глупую деловую мину озабоченности срочным и важным делом, — и совсем не важно, куда и зачем — бессмысленно!

В тот самый момент того единственного дня, — лучше бы ты умер?!²

² Нет, нет, я вспомнил, в тот день я шел на Старый Арбат в антикварный, там ждала меня моя любимая, там был какой-то старинный браслет, и она хотела, чтобы я его глянул и оценил, и когда я пришел, и подождал ее там минут тридцать, и потом рассмотрел этот браслет, и его забрал — он был новодельный, — мы купили кольцо, старое, серебряное, тяжелое, с кабшоном бирюзы, Овчинникова фирмы, и пошли с ней гулять по Москве — так вот, это было все правильно, и мои горькие слова к этому дню отношения не имеют, он был из лучших, — но Боже ж ты мой, какая малость была таких дней! (Прим. автора)